Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Советский ЖУРНАЛИСТ

3 мая ЧЕТВЕРГ 1979 г.

Творческий выпуск факультета журналистики Уральского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. А. М. Горького

№ 149

Год издания 18-й

Современной газете нужен журналист-литератор. Этого требует сегодняшний читатель от наших газет.

Журналистом-литератором можно стать лишь систематически занимаясь художественным творчеством. Именно систематичности в работе над литературной стороной дела не достает нашим студентам. В результате, сухая деловитость стала нормой нашего письма. Нащупав проблему, логически разработав ее и внеся предложения, студент считает свою работу оконченной. Такие материалы не читабельны. Затраты государства на наше обучение и наш собственный труд полностью не реализуются.

Мы считаем, что лозунг: «У нас готовят журналистов, а не литераторов» — устарел. Понятия «журналист» и «литератор» нельзя противопоставлять. Наш факультет должен выпускать из своих стен литераторов, знающих газетное дело. Начальные знания о языке факультет нам дает. Но сегодня появилась потребность расширить и углубить литературную сторону нашей подготовки.

Поэтому необходимо на творческом конкурсе отдавать еще большее предпочтение художественно одаренным абитуриентам.

Ввести систему оценки студентов, занимающихся литературным творчеством. К примеру, при оценке практики обязательно учитывать художественность газетных выступлений...

Возобновить работу литературного объединения. Привлечь туда всех пишущих «для себя». Постоянным органом объединения сделать творческий выпуск «Советского журналиста».

Предлагая вашему вниманию его первый выпуск, мы приглашаем участвовать в нем всех, кто поддерживает наш лозунг: «Через литературное творчество — к настоящей журналистике».

ИГОРЬ ИВАНОВ

«Я убежден, что каждому —и тому, кто прожил полную значительных событий жизнь, и тому, кто ее только начинает, есть о чем поведать другим. Другой вопрос, каждый ли умеет выделить свой собственный опыт, свой собственный взгляд на мир из общеизвестного, общепринятого. Тот, кто ставит свою жизнь в зависимость от пера, — ДОЛЖЕН УМЕТЬ. Научить этому могут только свои собственные литературные эксперименты. Я учусь».

Меж пальцами
моими вечность
порою,
кажется,
струится,
А я
закован
в повседневность,
Как в латы
перед боем
рыцарь.
День отзвеневший
в лету
канул,
И годы — птицы,
грянет тридцать...

А из меня,
как из вулкана,
мечты моей дымок
курится.
Я не хочу
к подножью
лавой
И не хочу,
чтоб пеплом
в небо,
Я не хочу
посмертной
славы
И не хочу
чтоб жил,
как не был!

ОБЕЛИСКИ

Я Иван,
Андрей,
Степан,
Василий.
Я — солдат.
Я — кровь
твоих знамен.
Я — созвездие
твоих имен, Россия,
самых славных из твоих имен.
Я погиб.
Упал в горящей ржи,
задохнулся
запахом земли,
по двоим
на пять минут живым
прохрипел:
«прямой... на-а-в-одкой...
Пли!»
Я сгорел.
Мой танк
проткнул снаряд.
Тело — пар,
когда горит броня.
Только парни русские горят,
брюхом танка
пушки бороня.
Я был сбит
под Курском
и Берлином,
но, Икаром
падая с небес,
я орал врагу:
«Теперь бери,
На!
Я дарю себя,
горящего, тебе!»
Воздуха!
На шесть
горящих глоток,
выпить за грядущую победу.
Я — экипаж
на дне лежащих лодок,
вложивший жизнь
в последнюю торпеду.
Я Иван,
Андрей,

Степан,
Василий.
Я — солдат,
Я — кровь
твоих знамен.
Я — созвездие
твоих имен, Россия,
самых славных
из твоих имен.

Сок земли
течет в моих аортах,
пробиваясь
полосами ржи,
я вживаюсь
через списки мертвых
в день сегодняшний,
в дела живых!

* * * * * *

В мир
снова
целится
свинец
И будущему
как довериться?
Но
стих
родился,
как
птенец,
проклюнув
дрогнувшее
сердце.

ПЕРЕКРЕСТОК

Вы,
идущие мимо,
Ведь в нас
так много
похожего...
Вот один
подошел...
прикурил...
отошел...
И опять
превратился
в прохожего.

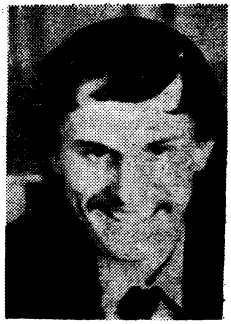
* * * * * *

Я спины
от ветров не горблю.
Мир в лицо бьет
упругою веткой,
Если горе,
— то комом к горлу,
Если радость,
— то каждой клеткой.

Только, что нам
от этой безбрежности,
С которою мы
на равных.
Нам всегда
не хватает
нежности,
А не колотых ран
и рваных.

ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

Ударило
три капли
об асфальт,
Ударило
отрывисто
и четко,
И вдруг
качнуло
громом
небеса,
И дождь
запрыгал
радостной
чечеткой.
На тонких ножках струй
Гоняет что есть мочи,
Зовет в свою игру,
Догонит... и измочит.,
Смеясь, бежит по крыше,
Зовет: стучит в окно,
Чтоб веселиться вышли
Ведь так вокруг смешно.
Но дяденьки и тетеньки
В подъезды убегают,
Большие ничегошеньки
В дождях не понимают.



ЮРИЙ ЧУЛКОВ

«Надо ли писать подобную «литературу», понимая, что с ней не войдешь в литературу? По-видимому, надо. И не столько для литературы, сколько для будущей журналистской работы: пустячки подобного рода формируют литературный язык и, главное, учат находить соответствующую содержанию форму. Проверено на собственном опыте.»

„ЦЫПОЧКА, ЛАПОЧКА...„

«Цыпочка, лапочка, лоскуточек, тряпочка...» Старик поет. Слова бессмысленны. Их всего четыре в песне, но старику на это глубоко наплевать: он считает, что если ему нравится — то и довольно. Впрочем, его никто не слышит, так как он даже не поет, а напевает, иногда просто бормочет слова под нос.

Стоит октябрь; на дворе умирает осень. Холодно блестят в лужах далекие звезды. Старик останавливается и смотрит ввысь. «Ну, вы...» — пальцем грозит он звездам. Старик в одном пиджачишке, но пока не мерзнет: он крепко выпивши, а в кармане есть еще полбутылки водки, недопитой с кумом Елизаром. Старик нащупывает горлышко бутылки, заткнутое бумажной пробкой, и удовлетворенно хмыкает. Выпить, что ли? Нет, решает, потом... И идет дальше.

«Цыпочка, лапочка, лоскуточек, тряпочка...» Старик живет один, на самом краю поселка. Была у него старуха — лет десять, как померла. Советовали ему найти ровесницу: все не одиноко — но старик тверд. Он ждет, что к нему когда-нибудь приедет жить сын, Витька, с женой и детьми. Вдруг приедет, а в доме — чужая баба? Не-ет, так не будет. Ах, Витька, Витька... Третьего дня стукнуло старику ни много ни мало, а ровно шестьдесят годков. Ждал он, что приедет Витька, попроведует. Нет, не приехал. Телеграмму прислал. «Поздравляем днем рождения. Целуем. Витя, Маша, внуки.» А что ему телеграмма? Бумажка. Тьфу! Су-укин сын... У старика дергается щека, и по небритой, морщинистой коже катится слеза. Э-эх!..

«Цыпочка, лапочка, лоскуточек, тряпочка...» Витьке четыре года. Крепкий розовощекий малыш. Старик с женой — тогда еще молодые — идут на покос. Витьку берут с собой. Старик смеется и пугает Витьку медведем. Малыш щурит глаза от яркого солнца и жмется к матери. Покос в лесу. Это просто большая поляна и рядом три-четыре поменьше. Мальчугана оставляют у шалаша, а сами с косами идут за кусты. Вжик! Вжик! Ровными рядами падает сочная трава. Хмелеет от густого запаха голова, и вдруг Витькин писк издалека: «А-а-а! Митветь!» Сердце захолонуло, и бегут с женой с косами наперевес, ожидая худшего. Но Витька сидит один, рядом никого нет. «Где медведь?» — «Вот митветь,» — и ручонкой тянется к старому пню, на котором сидит небольшой полосатый зверек. «Витюня!» — смеется облегченно отец, смеется со слезами мать. — Это же бурундук, бурундучок! Ах ты, маленький!»

— Витька, Витька, бурундука за медведя принял, — шепчет старик. — Ты-то не помнишь этого, где уж тебе помнить? А что вообще ты помнишь?

«Цыпочка, лапочка, лоскуточек, тряпочка...» Тихо, пусто и темно. Гаснут огоньки в окнах: в поселке люди ложатся спать рано. И рано поднимаются, топят печи, над домами курятся белые дымки, пахнет росой, туманом

или вот этим дымком — все равно одинаково родным, милым сердцу. Старик любит утро. Но встанет ли завтра встретить его, не знает, ибо сегодня он пьян. И вчера, и позавчера был пьян. А придет домой — выпьет еще водки. Что с этого? Запил — и все тут. Да... Витька вот не приехал. Может, и не до того тогда было бы. Думает так старик и шлепает себе по грязной улице. Шлепает и удивляется: пора бы уже дому быть, а — нет. Куда это забрел? Никак, дом Катьки Лапишниковой. Он... Нет, вроде не он... Или он? Стоит старик, не может понять, где находится. Во, удивляется, дурачина старая, пень трухлявый, совсем из ума выжил. Скоро помирать, а, ровно младенец, в трех соснах заблудился. Топчется старик на месте, пытается разобраться, но голова тяжела, и ноги держат плохо, и машет рукой он: авось, добреду как-нибудь... Холодно светят в лужах далекие звезды; старик шлепает по грязи.

«Цыпочка, лапочка, лоскуточек, тряпочка...» Витька, Витька, что же ты? Телеграмму прислал... А когда сам приедешь? Поди, третий год не гостил. И денег твоих не надо. Не-е, спасибо, конечно, переводы точка в точку приходят, каждый месяц по пятьдесят рубликов. Что ж, ты на Севере, заработок не как здесь. Да что в твоих деньгах? Вон, Люська на почте, смеется: что ты, говорит, дед, на книжку их кладешь, трать, если присылают или назад отошли и чтоб не присылали больше, раз не тратишь. А на что мне тратить? Своей пенсии — во хватает! Много ли мне надо? Картошка своя, овощ свой, единственно — чекушечку купишь когда — вот и все мои траты. И отослать не могу, нельзя, обидишься. Уж потом, когда лягу в землю, узнаешь. Я ведь все на тебя отписал. Обидишься? Врешь, Витька, я ведь мертвый тогда буду, на мертвых не обижаются. Не-ет, брат...

«Не-е, брат...» — старик пальцем качает перед лицом и тихонько хихикает.

«Цыпочка, лапочка, лоскуточек, тряпочка...» Ах, не все ли равно, что слова бессмысленны? Старику нравится — и довольно. Старик сидит на куче щепы у чьей-то поленницы и напевает. Он устал и не может найти свой дом. Что-то случилось. С улицей? С домами? С ним? Старик пьян. Ему не до разбирательства, что случилось и с кем. Он просто не может найти дом, устал и присел отдохнуть. Отдохнет и пойдет дальше, выспится, а утром, может быть, Витька приедет. Витьку ценят на работе, верно, поэтому и задержался. Ну мало, понадобился срочно. Да, так и есть, решает старик, иначе не могло быть. Он лезет в карман за табаком и нащупывает горлышко бутылки. Совсем забыл! Старику сразу становится зябко, и он выпивает глоток. За первым следует другой, и старик незаметно опустошает бутылку. Все? Смотрит огорченно на бутылку и ставит рядом. Эх-ма! Становится тепло. А мысли баюкают; бегут картины жизни перед стариком одна за другой.

...Голый малыш — это Витька...

...Сад...

...Девушка смеется...

...Плачет старик — умерла жена...

Звезды перемигиваются, перетоптываются; вот бегут уже по небу, вот сливаются в сплошное белое пятно. И уже не пятно это, — это лицо... старухи. Она зовет его, беззвучно, издалека. Старик вздрагивает, и видение исчезает. Но через минуту он, откинув голову на поленницу, уже спит.

«Цыпочка, лапочка, лоскуточек, тряпочка...» К утру в лужах замерзают звезды. У поленницы, что у дома на самом краю поселка, лежит старик. Витька приедет поздно...

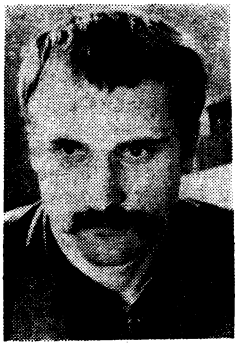
ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВОСТИ

Встреча-спор

Объявление зазывало на встречу. Зазывало очень активно, даже с перехлестом. Куда студентов-журналистов сильно приглашают, там их обычно не бывает. Так случилось и на этот раз.

А в гостях у нас были члены литобъединения имени М. Пилипенко при редак-

Окончание на стр. 26



ЮРИЙ КАЗАРИН

«Родился я недавно — года четыре назад, когда вдруг понял, что поэзия — это человек. Любой: и плохой, и хороший, красивый и наоборот. Поэтому, о чем бы я не писал, я пишу человека».

ПОЭТУ Б. МАРЬЕВУ

Здесь дождь росу подслушал
лопухами,
подмаргивают бабочками пни, —
задумались пригорки тополями —
как высоко задумались они!
Здесь ты прошел, твой след
продолговатый
еще с груди не сбросила трава,
и у крапивы запах — сладковатый,
и возле губ вращаются слова,
как комары, пронзительно-сухие,
ты напоишь их с болью на губах,
ты вышел весь, ты весь теперь
в России...
И разлетелся кровью в комарах...

* * *

Уеду в ледяном трамвае,
всосавшись кожей в пальтецо,
глаза зажмурив, открываю
твоей пощечине лицо.
Но ты — вдали. Морозом жалишь.
Повис трамвай на проводах
средь снежных голубых пожарищ...
Чем, кроме стужи, ты ударишь?..
Сугробы в рельсовых слезах.
Я болен — все равно ударь —
метели кашель и одышка...
Торчит, как градусник, фонарь, —
торчит у города под мышкой...
Подвластный синему огню,
я — насморк — капаю с трамвая.
А ты — вдали...
Но, замерзая,
пощечину
я догоню!

* * *

Пора не задыхаться нам, дружок,
пора уехать, тихой дверью хлопнув
так, чтоб набился в башмаки снежок,
как эта ночь набилась в эти окна.
Пора нам вспомнить юного отца,
дырой в груди приросшего к дороге,
проросшего сквозь шар, сквозь гниль
крыльца, —
дрожащего метелью на пороге...
Пора бы задохнуться от тоски
и этим мать свою убить... Да
только...
Уже терзает седина виски,
и сын выносит на балкон двустволку.

СЕКУНДА

Она бесшумно пробежит,
толкнет в лицо холодным взглядом...
Но листопада грабежи
я возмещаю снегопадом.
Она не вспомнит, обойдет —
последняя секунда века —
у плоского лица мелькнет,
освобождая человека.
Она, соленая на вкус,
как раскаленная росинка, —
забьет мой рот, как снегом куст...
Но сквозь снега мычит Россия:
продышит до небес поля,
отстанут руки от железа,
воздымет сонная земля
затекшие капели леса.
И по лицу проходит дрожь,
и дух кочующей России
сквозь валуны разбрызнет рожь
и выпрямит дожди косые...

* * *

Смешенье возрастов. Бересты
младенческий переворот,
длинны, неуловимы звезды,
словно берез озябший рот.
Погаснут звезды, отвернутся,
перекосятся, отгорят...
Откуда силушки берутся —
березы на земле стоят!

* * *

Лопаясь огородами,
выросло напролом
Дерево Неба и Родины
с лунным дуплом.
Дедушка скажет: «Пужливое
времечко...»
А над лицом —
веточка журавлиная,
сломленная дождем...

ВЕСНА

Рыдает, тает нараспев природа,
холодной плотью плиты окропив,
отвисшей в песню челюстью порога
растягивает звуки тонких ив,
соединив дорогу и заборы,
растеребив глаза и воробья;
и вдоль стены свисают разговоры,
так сохнут сети на исходе дня;
так человек свои ладони выпек
в жаровне непомерного труда...
И куст сквозной возносится, как
выкрик,
который наизусть твердит вода...

* * *

Летят в живот, как из пращи,
столбы тупые, очумело
хохочут провода морщин,
перехлестнув пустое тело...
пусть повторится боль. Приму, —
как этот сад в себя — заборы, —
и проводы, и приговоры...
Нельзя на свете одному!

* * *

Летит от взлетного виска
с его травы заиндевелой,
летит подобно вьюге белой
стрекозья грозная тоска.
Природа примет пробу рук,
к ладоням прикоснутся травы,
сольются влажные октавы
травы и пальцев, сил и мук...
Приляжешь, затемнишь висок,
свернешься, как земля —в калачик...
И вот комар злорадно плачет,
и заикается в песок.

БЕРЕЗА

Скажет: думал, я — немая?
Просит: дочке стань отцом, —
обручаясь с каждым маем
годовым кольцом.

* * *

По весне у невских львов
появился львенок...
Как бежал к нему
по льду
тоненький Невенок!..

* * *

Он обернулся. Шлепнулось лицо.
Качалось в луже.
Наматывая боль на колесо,
катила с мужем...

* * *

И не криком, и не смехом
не достать меня — забыт...
Тополя забиты снегом,
словно снегом рот забит.

* * *

Не живу — подсказали:
мол, нетрудно, — попробуй...
Как мешки под глазами —
в апреле сугробы.

* * *

Как нехватка снега — белый стих,
так весну на пальчиках нести
неуверенно, неровно, растопыренно,
как Марина...

ВОЗЛЕ

Человека бьют, елозят
по земле.
Мы стоим — мы возле,
иль — во зле?!

ОБОЧИНА

Не вороти, отшельник, нос,
ты горем к празднику прикован,
и на окошке Дед Мороз
зубною пастой нарисован...
Ах, как когда-то ты мечтал
с утра почистить зубы миру!
и оттого забросил лиру,
и струны к веткам привязал...
Пустое дерево звенит
тоскою нерожденных скрипок,
пустой колодец дышит скрипом,
словно губами шевелит...
Не закрывай свои глаза,
лицом отчаянно раскован,
как крылышками — стрекоза,
которой воздух нарисован.

АНАТОЛИЙ ФОМИН

«Стихи бывают разные, как поэты. Стихи должны быть разными. Если стихи хотя бы на одного читателя воздействовали эстетически — независимо от творческого метода и средств самовыражения—они имеют право на существование.

О своих стихах: в сборнике помещены стихи из небольшого цикла «Дожди». Я вижу несовершенство их. Вообще, ни один свой стих более, чем три дня, мне не нравился».

ДОЖДИ

ВЕСЕННИЕ ДОЖДИ

Весною губы сведены.
Пусть больно будет, да не скучно!
Снежки как белые веснушки
На розовой щеке стены.

* * *

Все было ясно.
Бредила весна,
Текли виденья — зелены и липки.
С зимою таяли обиды и ошибки.
Все было ясно,
Даже ты — ясна.

* * *

Мне и расплакаться нельзя
От боли дикой и вечерней,
Переступив порог ничейный,
О том, что предают друзья.
И что нельзя предотвратить
Измен таких немые вести,
Что все заранее известно,
И значит — незачем грустить.

ЛЕТНИЕ ДОЖДИ

Я ем морошку у костра.
Еще вчера
Экзотикой казались перекаты,
Старик-мансиец у мотора,
Облака,
Река,
Упругим холодом скользящая меж пальцев.
А если дождик шел —
Мир снился полосатым и мокрым;
Я был удивлен,
Как он стекал в мои озябшие ладони.
Я был прозрачен и наклонен
И не понять — в кого влюблен.

ОСЕННИЕ ДОЖДИ

Осень в ладошке обиженно меркнет,
Словно сентябрь — капризы погоды,
Но, опрокинув законы и мерки,
Вдруг желтизной осыпает субботы.

* * *

Как дождь,
Стекал, стекал, стекал
На золоченые затылки
Берез
И радугой — в стакан,
Переломившись в горлышке бутылки,
Стекал.
И верил хоть не до конца,
что осень в лужах глянца растворится.
Сироп из осени. Синица.
Сентябрь. — Два нагих лица.

ЗИМНИЕ ДОЖДИ

(из экспедиции)

Здесь ничего наполовину:
Один закон — снега, снега
И занесенные стога
Похожи на слоновьи спины
В немом предчувствии шага.

* * *

Двенадцать скоро...
В белом — крыши,
Гороховый оттенок окон,
И циферблат зеленым оком
Следит за мной —
Как кот за мышью.

* * *

Луною бледной, как спина
Коснется ночь шершавой крыши,
И кто-то дырочку продышит
В весну, которая — зима,
Где будет восхищенно-нем
И только рифм иноязычье
Расставит звуки необычно,
Родившись, просто, незачем.

* * *

ОЛЕГ БАЛЕЗИН

«Нет вневременной литературы. Только говоря о сегодняшних проблемах, литератор может решать извечные вопросы добра и зла, красоты и уродства, жизни и смерти. Ибо «вечное» видится иначе на каждом новом отрезке времени».

Мы заряжены электричеством.
Электричество входит в нас,
Чуть подергивая, величественно.
Светит светом запавших глаз.
Заряжаемся электричеством,
Ночь под лампою просидев.
Строчки чьи-то, почти магические,
Как сожженной проводки след.

Мы заряжены электричеством,
Встал трамвай на исходе дня,
Но людская тяга не выключена,
Электрически в ночь гоня.
Мы заряжены электричеством.
Голос сзади, как электроток.
Эти строчки энерголирические
Пусть вольются в энергопоток.

* * * * * *

Зуб мудрости
Вылазит,
Врезаясь
Белым буром
В сомкнувшееся
мясо
Зубной клавиатуры.
Бур противоестествен:
Не внутрь,
а изнутри.
У мудрости
Есть
место.
Чего же лезешь
ты?
Мы многое
видали.
Но зуб стонал:
«Позволь!
Ведь вы
не понимали,
что мудрость —
это боль!»
Во рту вулканом
зреет.
Взорваться, что ль,
строкой,
Чтоб люди
онемели
От дерзости
такой.
Зуб мудрости,
Он тоже,
Как молчаливый
рык.
Что, жизнь свою
положим
На зуб,
не на язык?
Зуб мудрости
вылазит
Нахален,
зол
и груб.
Я понимал
не глазом,
Что лишний
этот зуб.

* * * * * *

Мы пишем странные стихи.
Мы говорим про то, про это.
А осень
водит
пикники
Из пьяных листьев,
пьяных веток.
До отрезвляющих снегов,

Чья чистота голубовата,
Мы будем жить, верша расплату
За странный стих,
за смех грехов.
Мы будем меж шальных деревьев
Бродить как-будто
невпопад,
И все ушедшее
проверим,
К высокой истине
припав.
Но только белый снег
пройдет
И ляжет,
девственно нетронут,
Проложим тропку
в новый год.
В следах —
увядший лист багровый...

ПРОЩАНИЕ С ГИМНАСТИКОЙ

Опять взъерошены трибуны,
А ты,
дразня и холодя,
Идешь по взглядам,
как по струнам,
Мелодией
лихого дня.
Взлететь над брусьями,
оставив
Весь мир
внизу и затая,
Взлететь в последний раз,
чтоб память
Была твоя
и не твоя.
Ты столько раз
сожгла помосты,
И все соперницы —
вдали.
Но тело
обмануть не просто,
А тело
вот что
говорит:
«Когда приказ я слышу
свыше,
То я еще могу
ломать
Собою воздух,
словно крышу,
Но что-то стало
уставать.
Когда лечу над перекладиной,
То на носки мне давит,
страсть,
Костисто,
сумрачно,
громадно.
И я боюсь, боюсь
упасть.
И только воля,
как неволя,
Меня бросает вновь и вновь
В тот пируэт, где столько боли,
Как невзаимная
любовь».
А ты твердишь:
«Молчи, проклятое.
Еще разок.
Еще разок».
Как будто бы
творишь заклятие —
И поднимается
носок.
Но вот — соскок.
Земля ударом
Тебя приемлет
навсегда.
Могла летать.
Имела право.
А сможешь
на земле
вот так?

* * * * *

Болтались сетки за окном,
как гнезда.
Была зима,
а может,
просто поздно
Уже прийти в усталые дома,
Где форточки порою открывают
Так,
словно старики проходят в мае,
А май последний или нет —
не знают.
Вдыхают запахи сирени иль мороза
Те форточки,
где рядом свили гнезда
Запасы лет,
запасы крох,
и что-то
Еще таится
по-под рамой узкой,
Как будто нет

ракет,
портов,
этрусков,
А только узкий мир людской заботы.
... Так сносят дом.

* * * * *

Скарб перевозят,
меняют квартиру.
Комната временная
в грузовике.
Словно граница
от мира
и к миру,
Словно черта
между было
и не.

* * * *

В окне вагона,
Как матросу берег,
Мне светит город.
Сам себе не веришь.
Куда б ни плыл я,
Возвращаюсь снова
На сбитых крыльях —
Парусах с изломом.
Врезаюсь в давку,
Как в песок прибрежный.

* * * * *

Опять закодирую чувство,
И выверну времена,
И выдохну: «Есть Искусство»,
И выброшу — «Ерунда».

* * * *

Ты бежишь со мной,
Бежишь.
Твоя рука — в моей.
Моя рука —
как поручень.
Поручишь
что-то ей?
Бежишь со мной,
Бежишь.
Не страшно ли,
вот так —
Река пуста,
как лист,
Измята
впопыхах.
Бежишь.
Лицо светло.
Бежишь.
Глаза бежат.
Как огоньки
на елочке
Слегка дрожат.

И, видно, не случайно
В обыденности
проступает тайна,
Когда идет судьба
на нужный слом.

* * * * *

Неразбериха.
Сумятица,
скорость.
Мчит грузовик.
Старый хлам на горбе.
Там обстановку
сменят не скоро.
Лучше ли будет?
Или же —
не?

* * * *

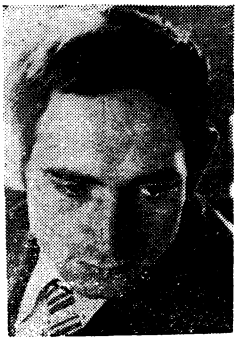
И ругань: «Так... вас ...»,
Словно шепот нежный...
Скучаю в рощах.
Что перепела?
Меняю почерк
В дружбе и делах.
Но с каждым разом все тревожней
мнится,
Что неоткуда будет
возвратиться.

* * * * *

Увижу себя зеркально,
Пройду половицей одной...
...А после собьет дыханье
Звонок телефонный твой.

* * * *

Настанет Новый год
В наш
августовский срок.
Бежим к нему —
и вот
Пустил он
на порог.
Бежишь, бежишь со мной,
И волосы назад.
Их ветер над рекой
Пустил,
как паруса.
Бежишь в наш Новый год,
Бежишь в наш Новый мир.
Шурша, отходит тот,
Кто раньше рядом был.
Шуршит закатный лист
За тетивной спиной.
Бежишь —
и виден смысл
Лишь в том,
что ты со мной.



ВАЛЕРИЙ ШТРАУС

«Стены университета обладают свойством изолировать от внешнего мира. Это сразу отражается на художественном творчестве. Многие мои знакомые ушли в словотворчество, бессодержательность, красивости. Я сопротивлялся этому всеми силами. В этом бою подрастерял свой тон, но приобрел знания и желание писать прозу.»

Если я стану зданием,
я смогу написать стихи о голых
автомобилях,
о людях.
Если я стану небом,
я смогу написать стихи
о земле.
Но когда я становлюсь зданием или
небом,
Мне так хочется стать человеком!—
И стихи
не пишутся.

* * * * * *

В самом центре города
погибаю
с голода.
Не по хлебу белому,
не по молоку —
по лесному шороху
тихому,
невнятному,
вечному,
понятному
чувствую тоску.

О ДЕТСТВЕ

Дни прикрыты занавесками
Комнаты, комнаты... Детская.
Лишь
Щемящие мазки:
девочка,
мостки,
дуновения изгиб
на платьице.
Очень хочется навсхлип —
не плачется.

МАМА

Поедем, брат,
я чувствую —
беда
скребется по невысохшему
сердцу.
Ты знаешь, мне
приснится иногда,
что открываю дверь
в пустые сенцы.

* * * * * *

Обыкновенный самолет
подаст
аэрофлот.
За расставанье и полет
оплачено
вперед.
Рванется вой
его турбин
в другой конец страны.
Там кто-то
более любим,
чем, видно, были мы.

ОЛЬГА

ЛЮБИМАЯ,
имя твое начинается бережно
и озонно —
цветком из-под снега.
ЛЮБИМАЯ,
имя твое начинается кругло и нежно,
как срез горизонта.
ДРЕВНЕЕ,
как эти ночи монашьи,
ДРЕВНЕЕ,
как одиночество наше,
имя твое
с тобою пришло поделиться
опытом плакать и опытом
веселиться.

* * * * * *

Как это просто — быть вдвоем.
Как это близко — от разлуки.

* * * * * *

Как ладонь от лица
поезд,
затихают у ног
рельсы,
а над городом снег
ходит
и твои не найдет
плечи.
Повернусь,
словно дверь
в доме,
чтоб не выстудить всех
улиц.
А над городом снег,
вроде,
и как будто чуть-чуть
дует.

ВАСИЛИЙ ШАКУЕВ

Любовь к поэзии мне привила З. И. Калганова, преподаватель Калмыцкого государственного университета. Первое стихотворение, которое я читал по радио — «Фронтовик». Трижды печатался в республиканской молодежной газете «Комсомолец Калмыкии». Мои любимые поэты — Кугультинов и Евтушенко.

Не спится мне.
Я вспоминаю степи,
калмыкские, ковыльные мои.
Мне чудится степной
прохладный ветер,
и вижу я тюльпанные огни.
Я слышу ясно, как стучат
копыта,
домой спешащих,
резвых скакунов.
И до сих пор для слуха не
забыты
веселый бич и окрик чабанов.

ПОДОБИЕ МЕМУАРОВ

О. БАЛЕЗИН.

Где это начиналось? Может быть, в том духовитом стогу, когда мы с Володькой Лапшиным, в перерыве между сортировкой картошки, привозимой машинами со смолисто-черных, взрыхленных полей, читали наизусть и с тетрадок стихи Вознесенского и Рубцова и помалкивали о собственных, распиравших нас виршах. А может, это было позже, когда собралась в 438 аудитории ватага пишущих, незнакомых друг с другом первокурсников, готовая скорее отвергать все и вся, чем замечать блестки озарений в стихах товарища. И этот гам неравнодушия, и тишина, подобная приговору, и бородатый, огромный Юрка Казарин, запутавший меня и пленивший. И Сашка Черемных, стрелявший глазами из-под очков с заброшенного уголка «камчатки». И застегнутый на все пуговицы Игорь Иванов

Окончание на стр. 18.

ВИКТОР ЕГОРОВ

— «Цели своей жизни — не вижу.

— Зачем я на земле — не знаю.

— За этим ко мне — лет через сорок.

— Пока мучаюсь над проблемами журналистики, нашего человека и моей женщины.

— За этим ко мне — в любую минуту.»

УБИЙСТВО

Маленький мальчик возвратился из школы. После весеннего солнца улицы — дома темно, почти ничего не видно. Мать молчит. Брат взял его за руку и вывел во двор. Около поленницы лежало несколько мертвых цыплят.

— С Найдой что-то случилось, — сказал он. — Ни с того ни с сего взяла и задавила их.

Мальчик вспомнил, как мать любила этих птенцов. Она говорила, что скоро у них будет много куриц. Он хотел побежать к матери, но брат взял его за руку.

— Не надо, Игорь, она там плачет.

Брат подождал и выдохнул:

— В общем, Игорь, Найду надо убить. Если хочешь, я сам это сделаю.

Игорь прислонился к поленнице, покачал головой.

— Вот это правильно, это по-мужски, — сказал брат, хлопнул его по плечу. — Не переживай. — И ушел.

Игорь заглянул в конуру. В углу затаилась маленькая черная дворняжка. Узнав Игоря, она быстро подбежала к нему, испуганно прижалась к его ногам. Черные глаза ее устремились к Игорю. Лицо мальчика потемнело, впервые появились углы скул. Он пошел за рюкзаком. Засунул в него несопротивлявшуюся дворнягу, завел мотор мопеда и поехал в лес. По грязной дороге он выскочил на берег реки. На сухом месте нашел березу с удобным, низким и прочным суком. Снял рюкзак, положил около березы и сел рядом. Он не знал, как он сделает то, зачем приехал. Мальчик вспоминал что-то слышанное и виденное об этом. Действовал в мысленной и чувственной пустоте. Подчинился принятому решению.

Он достал Найду из рюкзака. Одной рукой держал ее, другой доставал веревку. Кажется, собака обо всем догадалась. В нем все качнулось, волна чувств хлынула в мозг. Руки его передернуло. Мысль: не смогу, — ударила в виски. Он судорожно заторопился, быстро сделал какую-то петлю, накинул на голову дворняжке, подбросил ее на сук и дернул за веревку. «Держать», — бормотал он губами, залитыми теплыми слезами. Найда захрипела, задергалась и затихла. Мальчик не мог отпустить веревку: мозг не командовал. Повалившись на землю, лежал с задранными вверх руками. Наконец, пальцы разжались и тело собаки упало рядом.

Прошло время. Мальчик поднялся. Слезы высохли, остались только белые следы. Смотрел на собаку, постепенно осознавал, что собаки больше нет — это ее труп. Качаясь, ударил ногой по кочке, схватил ее руками и

стал рвать ее от земли. Оторвав, положил на Найду. Пошел к другой. Бил их все яростнее, рвал руками, носил грязную землю, не замечал, что она пачкает его. На том месте, где лежала собака, выросла с его рост куча земли. Крестик из прутиков воткнул сверху и стал царапать на березе: «Здесь похоронена моя любимая Найда, которую я нашел, кормил и которую я здесь убил».

Затем ехал домой, боролся с воспоминаниями, как она еще щеночком игралась с его штаниной, ходила между парт в его классе, носилась по лесу кругами вместе с ним...

Зашел в дом. Мать налила суп, сел и стал спокойно есть.

— Куда ездил? — спросила она.

— Так, катался.

— Найда где?

Понял, что они еще не знают ничего.

— В конуре, наверное, — соврал Игорь.

Мать с жалостью смотрела на уткнувшегося в тарелку сына. Подошел брат, переглянулся с матерью.

— Игорек, что делать, надо. Она сейчас уже испорченная собака. Ты, если ее очень любишь, возьми просто к дереву в лесу привяжи и уйди.

Мальчик усмехнулся и не отвечал. Мать не выдержала.

— Может, Найда только поигралась, может, больше и не будет никогда цыплят давить, — робко вздохнула она. Брат обрадовался.

— Конечно, мама, по-моему, ничего страшного не случилось. Купим новых цыплят, я сделаю им ограду, Найда туда и носа не засунет.

Игорь замер. Поглядел на обоих, вдруг рванулся, выскочил во двор, на улицу.

— Рад, — засмеялась мать.

Брат облегченно улыбнулся.

СЕРГЕЙ ГОЛОВКО

А мне не хочется грустить,
Легко и чисто в небе вечном.
Кричат безгрешные грачи.
О прегрешеньях человечьих.
В бессонной роще за селом,
За чередой домишек сонных,
Смешным-смешно, светлым-светло
В глазах березовых девчонок.
Но только плечики свело
Ознобом уличной осине.
И бьется веточка в окно,
Как отмороженный мизинец.

* * * * * *

Стояло сонное такси,
Кричали птицы, снег искрился.
Как золотые караси,
В лучах зари две тучи мылись.
В заплатном, старом зипуне
Скрипел лопатой тихий дворник,
Ворчал под нос: «Уже к весне...
Ой, много будет работенки!»
Я помнил все: и этот дом,
Такси, ворота голубые.
Хотя, казалось мне, что шел
По этой улице впервые.
И все-таки вот здесь я рос.
Вон и окно чуть-чуть в сторонке,
И в нем, к стеклу приплюснув нос,
Торчит знакомая девчонка.
Вернуться? Впрочем, все-равно.
И дом давно со мной простился.
Окно туманно и темно,
Как все, что было и забылось.

* * * * * *

В сиреневом шлейфе заката
у самого края волны —
две веры, два сердца, два брата —
веками лежат валуны.

АНАТОЛИЙ ГУЩИН

«У меня много друзей-приятелей. И, пожалуй, половина из них — мальчишки с нашей набережной улицы. Хотя они мне и не ровня, но мы всегда находим общий язык. Мне радостно было узнать, что у Кольки уже есть мечта стать военным летчиком, что Вовка вот только-только научился свистеть и в первый раз гонял голубей. Кто знает, может быть именно в эти минуты их охватило первое жгучее удивление необъятностью мира и радость жизни.»

ВОВКА-ГОЛУБЯТНИК

Громкий свист раздается за окном на улице. Не выдерживаю, выхожу из дома. Гляжу: Вовка, мой сосед, взобравшись на крышу, насовав в рот пальцев, отчаянно свистит в небо. Несколько пар голубей беспорядочно трепетали над крышами.

— Что, голубей купил? — спрашиваю у него.

— Да, давно уже купили, еще на мой день рождения.

— А что, еще ни разу не гонял?

— Гонял уже.

— Что-то не слышно было.

— Да я свистеть вот только сегодня научился.

ВАСЬКИН УЛОВ

Кота Ваську, с седыми длинными усами и рыжим хвостом, знает каждый рыбак. На реке он частый гость. Только утром рыбаки придут на берег, забросят удочки, Васька тут как тут. Кажется, Васька уже знает, у кого лучше клюет. Кому ловится, Васька возле тех и вертится. Ходит от рыбака к рыбаку, мурлычет, а если кто вытащит рыбку, он так жалобно и нежно начинает мяукать, что не каждый рыбак выдерживает. Бросят ему еще живую рыбешку, Васька хвать ее и драть в прибрежные кусты. Съест, снова выходит, облизываясь. Да так быстро с ней расправляется! Удивляются рыбаки, неужели он столько рыбы съедает? Решили проверить. Пошли за ним, глядят, а Васька в небольшую ямку складывает рыбешек. Глянули рыбаки в нее, а она уж полнехонька! Никто на реке столько рыбы не поймал. Васька всех рыбаков «обловил».

КОЛЬКИН ИСТРЕБИТЕЛЬ

Колька, усердно стоя на коленях, не обращая внимания на прохожих, прямо на тротуаре рисовал истребитель.

Самолет он видел пока только в кино и высоко в небе, но тем не менее, он уже жил мечтой стать военным летчиком. Даже в альбоме для рисования у Кольки почти все рисунки — самолеты и воздушные бои. Но — на листочке большого самолета не нарисуешь. То ли дело, — на асфальте, прямо на площади. Здесь его рисуй хоть во всю естественную величину.

Колька пыхтел, стирал одну линию, проводил другую. Прохожие останавливались возле художника, глядели на его «произведение» и осторожно обходили. Он не замечал никого. Когда уже самолет был почти готов, Коль-

ка встал взглянуть на него со стороны. Рядом с ним стоял и улыбался высокий солдат в голубой фуражке. Взяв у Кольки мелок, он склонился над его истребителем и несколькими штрихами поправил и дополнил рисунок: появилась кабина пилота, шасси, крылья приняли правильную изогнутую форму. Казалось, что самолет вот-вот взревет моторами и взлетит с площади.

— Совсем как правдашний! — воскликнул Колька.

В это время мелок из рук солдата взял пожилой, поседевший мужчина. На боку боевого ястребка он написал: «Мститель» и нарисовал восемь маленьких звездочек.

ГЕННАДИЙ СЮНЬКОВ

«Из молодых поэтов, а именно в этом качестве знали меня еще недавно в Свердловском отделении Союза писателей, ныне я благополучно выбыл по возрасту. И теперь именуюсь членом актива, правда, не особенно активным, т. к. последний мой поэтический сборник вышел давно — в 1975 году, а новый выйдет не скоро, ибо наука требует жертв, приходится переключать вдохновение на вещи менее приятные, чем стихи, но не менее полезные. За стихи сажусь все реже, когда уж очень допечет. Но, может, это и к лучшему.»

Короткие мгновения
Тревожат память странно...
Село послевоенное
Залечивало раны.
Горя закатным пламенем,
Малиновые словно,
Лежали длинным штабелем
Ошкуренные бревна.
Летал фуганок, ухая,
И стукала стамеска,
И на плечах у пугала
Висел мундир немецкий.

* * * * * *

Рубили лес. Летели щепки.
На землю падали стволы.
И птичьи стоны были тщетны —
Холмы и выемки — голы.
О, как далеко стало видно!
Какой открылся вдруг простор!
Над свежей вырубкой рябины
Пылает горестный костер.
И подступает на пределе
Предощущение беды.
О, как заметно поредели
Друзей и недругов ряды!
Один терзал меня, как Демон.
И вдруг замолк. Исчез во мгле.
И я спросил однажды: «Где он?»
И мне ответили: «В земле».
И опустив бессильно руки,
В печальный глядя окоем,
Я вспоминаю, как о друге,
О бывшем недруге моем.
И оголенная округа
Приносит ворох горьких чувств,
Что я без недруга и друга,
Как в море челн, как в поле куст.

* * * * * *

В гостях у старой дамы, за кагором,
Над скатертью метельной белизны
Мы спорили с известным режиссером
О смысле и природе новизны,
Меня давно дразнила тема эта,
От дерзости кружилась голова,
Бросал я, не щадя авторитета,
В лицо ему обидные слова.

Мы ждем, когда нам новое откроют
Художники, мыслители, творцы,
Но ходят по экранам их герои,
Похожие, как братья-близнецы.
Киношники не любят прибедняться,
Они в кругу знакомых — мастера,
Но техника не может приподняться
До уровня гусиного пера.
Но режиссер, как будто бы скучая,
Сказал мне с сожалением в ответ:
«Да что кино. Поэзия мельчает.
Обидно, что поэтов больше нет.»
Потом старушка долго нас мирила
И говорила тихо нам она:
«У каждого искусства есть мерило—
Не столько новизна, как глубина.
И есть на свете высшее несчастье,
Когда душа и помыслы пусты.
И надо помнить вечно и всечасно—
Без глубины не будет высоты.

* * * * * *

В старой Риге, в старой Риге —
Запах моря, запах рыбы.
В старой Риге, в старой Риге —
Чаек плачущие крики.
Побережье, побережье,
Волн кудрявых перебежки,
И по волнам к старой Риге
Бег проворный правят бриги,
И с собой приносят Риге
От балтийского размаха
Ветер музыкою Грига,
Волны музыкою Баха.
В Риге—лето, в Риге—лето
Все — цветенье, все — сиянье.
На афишах — «Риголетто»,
На гастролях — киевляне.
Рига, ты с Парижем вровень,
Уезжаю, очарован.
Все гостиницы забиты,
Все гостинцы позабыты.
В самолет, подобно стельке,
Я погружен без копейки.
Но запомню все до мига.
Укачало. Рига, Рига...

* * * * * *

Железо и стекло.
Столичный Дом кино.
На улице светло.
В глазах моих темно.
Зигзаг людской реки
Над серою Москвой.
И черные венки.
И профиль восковой.
Ни говора толпы.
Ни шелеста машин.
Прощаются они —
Россия и Шукшин.
И грозно, как гроза
Над темными лесами,
Шукшинские глаза
Стоят перед глазами.
Глядят они в упор,
Земною болью мучась,
И сердцу — как укор
Их горькая колючесть.
Ступая тяжело,
Вхожу в людские волны.
Железо и стекло
Угрюмы и безмолвны.
Закутанная в снег
И жизни лишена,
Лежит, оцепенев,
Россия Шукшина.

Начало на стр. 13.

с его тоской по настоящему. И еще лица, лица, лица.

А может, все началось с прихода (или возвращения) Бориса Михайловича Марьева. На каждом занятии нас было более 20 человек, но — боже мой! — как ничтожно мала такая аудитория для блестящего ума, мыслившего масштабно и ярко. Как мала аудитория для оратора, начинавшего свой поэтический путь с чтения стихов на площадях. Как жаль, что мы, втайне обижаясь и считая себя индивидуальностями, не предавали бумаге его замечаний о наших строчках.

С чего же все началось? Не так это, собственно, и важно. Важно, что было начало, было желание пить из поэтических ручейков собратьев по перу и самому нести свои стихи другим. Важно, что жили мы не одними конспектами и семинарами.

Как быстро осознаешь, что можно уже кое-что вспомнить и написать мемуары, или хотя бы их подобие. Как быстро появляется право сказать, что «иных уж нет, а те далече». И как жаль, что пустует вечером по пятницам 438 аудитория.

* * * * * *

В. ШТРАУС.

И хорошо, что жили так. Пусть не ладили с учебным процессом, не учитывавшим наше творчество. Но сейчас мы чувствуем в себе силу слова, мы унесем к людям энергию литературных сборов, в отличие от многих, кто снисходительно поглядывал на нас. На наши первые сборы

Окончание на стр. 26

АЛЕКСАНДР ПОДОСЕНОВ

«Будучи связанным (и сдается мне—пожизненно) со своей журналистской профессией, каждому из нас, по-моему, присуще некоё «набивание руки» в писательском деле. Существует множество возможностей для этого — от скрупулезного вычитывания словаря Ожегова до многоразового переписывания «Войны и мира». Потому и свои литературные опыты я воспринимаю прежде всего с практической точки зрения. Оправданием любого рода деятельности является вынесение его результатов на суд общественности. И утверждением собственной авторской позиции соответственно...»

ВОЛКИ

Посетив недавно родные мне места, я невольно был загипнотизирован слухами, наполнившими город. Морозы и метели выгнали из тайги стаи волков. Движимые голодом, животные появлялись прямо на улицах. Основной добычей животных становились их далекие собратья — собаки. Но случалось — нападали и на людей. Волков невольно возвели в роль общественной опасности. Их боялись и почитали. О них повсюду говорили, спорили, шептались, писали в газете.

В последние годы писать о волках модно как никогда. Будучи человеком впечатлительным, я также не мог не отдать дань моде, в результате чего и был написан рассказ.

Кххэ-ыф, кххэ-ыф, кххэ-ыф. Наметенный на обледеневшую тропинку снег хрипел старчески назойливо. «Словно бабка на печи», — зло мелькнуло в гудящей после тяжелого похмелья голове. Загребая подшитыми, непросохшими катанками юркую поземку, Савин шел неторопливо, привычно растягивая — урезая шаги, дабы не запнуться о пересекающие тропку взгорбатившиеся наметы. Метель засмеялась и, пронзительно-однотонно засипев, швырнула в лицо мерку колючего, отбитого снега. «Тьфу, дура!» — неизвестно кого ругнув, Савин невольно поежился от налетевших за ворот крупинок, уже катившихся по спине тонкими студеными струйками.

Тяжело, как никогда, болела голова. Ох, за что ж ты меня так, эгхммм, за что! Гул, отупляюще грудной гул, сочился от затылка, и, пробираясь по самым жалким мозговым извилинам, растекался по всей коробке неуклюжими кривыми качелями. Словно не в меру заботливый хозяин решил зараз проверить все свои кладовые, гул, стучась маленьким железным молоточком в каждую дверцу-клетку, медленно, но по-стариковски упрямо, брел вдоль одному ему известных коридорчиков. И в этом чудном бреду в голове, в этом савинском бреду по никому не нужному, продуваемому как старая «москвичка» заснеженному полю, был один единственный смысл: не сесть, не уснуть, не послать все подальше. Дальше, дальше. Страшно, до тошноты страшно хотелось промочить горло, пересохшее, втягиваемое куда-то вовнутрь чьими-то неумолимо цепкими руками горло, смочить сухие, с едким привкусом, губы; но и нагнуться, подхватить на ходу пригоршню такого же сухого снега и набить, захлебываясь, набить им рот, не было никаких сил. Да и желания.

Сзади кто-то нагонял, нагонял быстро, будто боялся, до ужаса боялся упустить Савина и остаться так, по-прежнему, с тем, с чем шел. Все явственнее, и по частым всхрапам снега, и по ширканью подошв об обледеневшую дорожку, даже сквозь вой вконец обезумевшей пурги слышалось, как тот, за спиной, страшится остаться один. И как могучий, кержаковски могучий, ни на миг не сомневающийся в своем могуществе испуг, верно, надежно и скоро преследует догоняющего, как уже шагает рядом с ним, постоянно грозя споткнуть и столкнуть и тем и здесь приставшие и хмурившиеся из-под лихо загнутых крутых козырьков придорожные сугробы.

— Тротуар называется. Ух! Здоров будешь, Пелагеич! — запнувшись, быстро и обрадованно окрикнул сзади. Савин, невольно замычав, выдавил что-то совершенно безразличное, в котором даже Толя-немой не смог бы найти и намека на здоровканье. К облегчению Савина, настигший его, как ни странно, оказывается, и не нуждался в собеседнике. То, что недавно гнало его по полю, заставляя неимоверно частить ногами, сейчас выливалось в обилии слов, большинство из которых для Савина были не расслышаны из-за ветра, не поняты, да и не нужны. Вообще, в чем он сейчас нуждался менее всего, так это в необходимости слушать, что-то понимать, сопоставлять, и, главное, думать. Но ненужные как никогда мысли возвращали его к событиям двухдневной давности, и эти, лишенные всякого смысла воспоминания тут же мешались, куда-то бешено мчались, сталкивались, наскакивая одно на другое, и вообще напоминали колесо огромной, буксующей в глинистой яме машины: взад-вперед, быстро-юзом, вперед-назад.

...Осторожно осматриваясь по сторонам, то и дело оборачивая головы на засвисты начавшейся метели, трое подошли ближе. Огромное, припорашиваемое белыми змейками темно-бурое тело животного не двигалось. Кровь уже не вырывалась с гыкающим храпом из простреленной дважды могучей горбатой шеи сохатого, а жирной, впрочем тут же застывающей, струйкой сочилась на снег. И только темный выпуклый глаз еще медленно-нехотя елозил верхушки елей, будто желал и не успевал найти наверху сурово молчавших великанов какую-то только ему веданную последнюю надежду. Но вот и глаз затормозил, остановившись на собачьей шапке Савина — животное в последний раз дернулось и застыло. Но еще долго, тоскливо долго, в последний момент поймав взблеск мутного холодного солнца, угасал и все не мог, не хотел угаснуть взгляд. Наконец, и он затих. Лишь кое-где седовато-чалая шерсть убитого изредка перешептывалась повизгивающим поземным ветерком...

Поначалу свежевали молча, в три лезвия взрезая белесоватую мездру. То и дело по очереди запускали замерзающие ладони вовнутрь мягких и скользких внутренностей, стылых все более с каждым разом. Лишь содрав шкуру да перекурив, стали перебрасываться ничего не значащими, непонятно кому точно адресованными словами:

— Глянь, какого сохатого завалили. Корова голландская — не сохатый...

— Не треплись.. К костям-то ближе срезай...

— Кому ты нужен — трясешься здесь. По такой погоде только что на твоего пса охота. Вон как разыгралась!..

— ...и сдался тебе мой Чуткий. Ты Айву с собой не взял.

— То-то же... Хороший хозяин, он и есть хозяин. Собаку в такую-то непогодь на улицу...

— Да в вас! Побыстрее не можете? Гремели тут — на Шестой делянке белка в дупло мочилась...

— Не трожь ребра; лопатки и ляжки секи. На кой ляд тебе печенка? Бабу кормить?! Оставь до завтра — закидаем ветками, глядишь, волки за ночь не растащат...

— ...Ну, с богом...

Не взяли и трети. Тяжелые, под завязку набитые мясом рюкзаки, перевешивая, тянули назад. Ружье у Савина, как назло, все время сбиваемое тяжелою ношей, сползало с плеча, заставляя тело клониться влево, чтоб не упасть.

— Стой, дай, ремни, подтяну, — сзади надрывно вскрикнул Никола и

тут же осел на лыжи. Савин оглянулся, поправил двустволку, в последний раз окинул взглядом поляну, на противоположной опушке которой еще с полчаса назад лежали остатки могучего тела; горячо сплюнул и, развернувшись, поплелся дальше, с трудом выставляя вперед то одну, то другую широкие, подбитые медвежьим мехом лыжи. И каждым своим ребром, в каждом своем движении он ощущал, как нелегко и как медленно он это делает.

И еще думалось, что сзади похож на сидящего волка, который вдруг вздумал бежать, и вот привстал, привстал, но неполностью, не совсем, разминая перед бегом сильные увесисистые лапы, да так и пошел. И пошел, и пошел...

До запрятавшейся на взгорке избушки дотащились уже в сумерках. Прямо в пристройке, слабо напоминавшей сенцы, скинули мешки с сохатиной. Посмеиваясь, глотали из фляжки леденящую, тягучую от мороза жидкость. Отойдя с холоду, затеяли возню с печуркой. И, лишь когда по избушке поползли сосущие под ложечкой запахи варящейся свеженины, трое, уже порядком поддавшие, враз, наперебой, заговорили. Про охоту, сохатого, мясо. Перемыли косточки бабам, тещам и прочим представителям того и другого племени, обильно запивая эту смесь солидными порциями горючего. В конце концов, вернулись по новой к охоте...

— ...тты-ж, поддумай, мы ж его честь честию. А? Ловко! Ллюблюу... Ув-важаю. А тебя, Нниколла, нни-ни. Разве это дело — сохатого на петлю?! А тты — брал! Брал, говорю, брал... Это как же так получается? Одного, значит, себе, а ддесять — зверю, — охрипло откровенничал Савин, — нне-увважаю...

И сильным скрипучим сжатием ладони вмял выпуклый алюминиевый бок фляжки вовнутрь...

Развалившись на топчане, упершись взглядом на играющие в открытой топке веселые языкастые струйки пламени, безмолвно и горько плакал третий...

...Наутро за остатками не пошли. Хмурый, опухший от водки и обильной пищи Никола затравленно-зло скрежетал:

— За каким хреном идти? — всю ночь серые выли! До дому надо!

Тащили, проклиная все и вся: и сохатого, и мясо, и погоду. То и дело останавливались глотнуть противно-тягучей обжигающей струи из фляги и тащились дальше. Но дотащились. И дотащили. Дома пили, и пили, и снова пили. Потом Никола взял кусок замерзшей сохатины. И ушел. Вернулся скоро. Вытащил две увесистые «восемьсот»...

— Ты, что ж это, Пелагеич, в ночную сегодня? Проспал, что ль, а? — (Савин вздрогнул) — Ага? С тяжелого... — голос принял знакомые, привычные очертания лица бывшего напарника Петьки Мальцева. — Что ж ты так, Пелагеич?

— Вчерашнего дня с охоты...

— И не боязно?!

— Чего? — равнодушие вмиг покинуло Савина. — Чего бояться-то?

— Сам не знаешь — волков?!

— А чего их бояться. Волки — они и есть волки... — и, внезапно догадавшись, смехотнул, — Так ты, это, случаем, не от волков ли бежал. Все еще зубы чечетку выбивают...

— Чего смеешься? — Петро постепенно смелел. — Не слыхал? Уже здесь ходят. Вон она — мастерская (махнул рукой в темноту), рядом. А дней пять назад ихню собаку растащили. Опять же, взять, Сашка Копылин, ну, в жэкэка на бульдозере робит, рассказывал. Чистил тут у них один под Новый год дорогу, что за логом. Глядит, под вечер уже, мужик из лога-то бежит. И орет благим матом. Ну, Сашка его в кабину. Че, мол, орешь? Волки, грит там... С собакой шел, собака-то, возьми, и отбеги, а как их учуяла — назад, к нему. А они, волки, и пошли, и пошли, и пошли за ним. Он — бежать. Ну, волк-то ее и подхватил. И давай рвать. Она, малехонькая, визжит. А мужик — бежать... А ты «боишься что ль?» В газете читал? — Петро полуобиженно-полупристав примолк.

Савин читал. Недели полторы как в районке писали, что где-то под Тихим разъездом маневровым паровозом сбило волка. Матерого, как, уже потом, рассказывали очевидцы. Савин, пропустив на узком месте Петра вперед, безразлично осмотревшись, подумал: «да, наглеют волки».

Где-то на соседней улочке вдруг, жалобно, обреченно взвыла собака. Мальцев вздрогнул; поеживаясь, оглянулся. Недоуменно-просительно уставился в помятое, усмехающееся лицо Савина. Приостановились. И снова смех разобрал Савина:

— Так, что же, ты, Петро, так вот ходишь? Задерут ведь. Нож бы носил. Или двустволку.

— Как! — недоумевая, переспросил Мальцев.

— Двустволку-то? А в штанах.

— А! Смех смехом, а это дело такое... Да я и ношу.

— Неуж-то?!

— Эгхм. Вот, — и Петро, обернувшись, вытащил из рукава блеснувшую острием самодельную отвертку. — Шоферская...

На миг Савин остолбенел. Затем ухмыльнулся:

— Так ты ею волка, как, тыкать будешь?

— А что? Пригодится...

— Конечно. Ты эту штуковину лохматым покажи, коль ночью закурить пристанут. Они тебе покажут...

— Что?!

— Как тыкать...

— Да иди ты. Эх, Пелагеич ты и есть Пелагеич. — Мальцев, вконец обидевшись, замолчал.

Савина многие знали как Пелагеича. И надо же было по пьянке ляпнуть, что так его еще в детстве окрестили. Отец-то как ушел на войну, так и остался там. И величали все с той поры Савина-младшего по матушке.

И опять мысли Савина отделились от него, унеслись туда, в заметенную вятскую деревушку. И первое послевоенное рождество. И мать, оттирающая обмороженные уши Пелагеичу, быстро и зычно приговаривая:

— Ухи-то, ухи. Диявол маленькой. Ворот-то поднять надо было...

И вечер. С лампадкой под образком Николы-угодника (по отцу Николаю), и струя густого, едкого самогона, булькающего в граненый стакан Савина-младшего:

— Накка, выпей, батюшка!..

И еще крепковатый дед Афанасий, скрипуче рассказывающий демобилизованному безрукому Ваське Юркину о покосах, о порубках и свирепости послевоенных волков.

«Тьфу ты, опять эти волки.»

Вышли на улицу. Идти полегчало — дорога пошла под горку. Петро отошел, присоединившись к группе идущих на смену шахтеров.

Снег на приступке заскрипел облегченно и весело. Савин толкнул дверь, размеренно, кособочась на каждой ступеньке, начал спускаться по лестнице навстречу банной духоте. Нарядная дымила, шумно недовольствовала, бурлила безобидными хохотками и невыспанно зевала. Предрабочий треп объединял в себе множество далеких друг от друга тем: ругались из-за зарплаты, жалились на воскресную пьянку, жарили старые анекдоты и болтали о тушенке, которую послезавтра будут выдавать на участке. Больная голова, дохнув дыма, загудела, забилась, застонала — Савин присел на корточки на пол, оперевшись спиной о дверной косяк. Здесь было свежее, пахло потом, вымытыми волосами и тем многолетним духом мужских тел, которые делают подобные помещения территорией, надолго отвоеванной у жен, тещ и всех остальных рекрутов данного легиона. Мало-помалу шум стал утихать. Прислушиваясь к тому, что рассказывал один из новеньких:

— ...ну, ем я эти чебуреки. Жую-жую. Не то, и все тут. Жестковато немного. Да и вкус. Свежее, а вкус травянистый какой-то. У свояченицы на свадьбе как-то лосятину ел — ну и это тоже, ни дать ни взять, — она же... Ну, позвал бабу. Что это говорю за мясо, откуда, мол, оно? «Откуда, откуда?» Тебе, говорит, не все равно, откуда мясо? Мужик у магазина

по дешевке продавал. Бери, говорит, дармовое почти...» Я — в холодильник. Смотрю, цвет-то не говяжий — сохатина...

— Шут с ней, не все ли тебе равно. Сохатина — не сохатина. Бабе твоей-то надо тебя кормить?!

— Тебе-т-то все равно. А вот зверине — той не все равно. Ее и так по нынешним морозам да метелям полегло порядком.

— Не гоже это...

— Не гоже? У тебя, куркуля, по два кабана каждый год. Можно, конечно, «не гоже!».

Разговор в нарядной вскипел по-новой.

— Да и волков ноне развелось. Задирают, бьют лося...

— Своих волков хватает...

— Не боись — и на тебя хватит.

— Сейчас сохатого повали — никакой лошадью не вывезешь... Вот и бросают половину...

— Чихал я по лесу за ним бегать. Мне хватает...

— Да, не каждый осмелится...

— Волк — он завсегда волку брат. Хоть и цапаются...

Савин, заинтересовавшись, уже начинал понимать, что причиной спора послужил Николин кусок за две «восемьсот». Не выдержал, смехотнул:

— Я вот на тормозок сохатину принес. Попробовать не желаете? — И, отбросив цигарку, властно поднялся на ноги, — кончай языком трепать! Пошли одеваться...

— А эт, не ты, Пелагеич, случаем, сохатого завалил?.. — откуда-то из угла, спрятавшийся за густой завесой дыма, съехидничал голос.

— Я! Вон все еще голову ломит...

Пффых-пффых. Отбрыкиваясь от капель попадающей в нос воды, Савин подставлял голое, отоспавшееся во время работы за сломанным транспортером, сильное тело колючим теплым ниткам душа. А те били и били по мягкой, дышащей, набухающей коже. затекали под мышки, бежали остренькими, освежающими ручейками с головы на руки, плечи, спину... Юркий маленький домовой, осмотрев все свои кладовые, ушел, тихо и медленно, на боковую; унося свой молоточек-колотушку, еще недавно сеявший гул по похмельной голове...

На выходе, опершись на подоконник наполовину выбитого окна, в распахнутом настежь пальто, курил распарившийся в бане Мальцев. Прищуренно посмотрев на него, Савин насмешливо предложил:

— Что, Петро, двинем!

— Да постою...

— Пошли-пошли, по пути ж.

— Не-э. Тебе через поле — и дома, а мне еще вон куда! Подожду попутчиков.

Засмеявшись, Савин вышел на улицу, встретившую настоянным на морозе, обжигающим воздухом. Уставшая метель угомонилась, лишь поземка, свистя и улюлюкая, пробегала по дороге и пряталась в ближайшем сугробе. Тусклые проблески холодного неба заставляли бледнеть высыпавшие под утро беззубые немигающие звезды. Все готовилось светать. На земле еще лежала темнота, подслеповато приглядываясь к Савину уже загоравшимися огнями в тусклых, заледеневших окнах. Ну и ночка! Валенок о валенок ударь — зазвенит все округ.

Поле все еще дымилось спиральками невесомого снега на взметах, да ловило блестинками сугробов безразличный свет далекого прожектора. Смена ночи и дня не коснулась пока равнодушия этой огромной помятой простыни, и темнота, еще вовсю ощущая значимость своего дородного тела, хранила в каждой поре его, в каждой клетке интимность прошедшего ночного веселья. Безмолвие оседало на простынь. Ох, какое раздолье зверью в такие предутрени. «Вот еще! Чуть отрезвел и уже Петькой Мальцевым заделался,» — чертыхнувшись, Савин приостановился покурить.

Он так и не понял, вернее — не успел понять, как это случилось, как это вообще могло случиться, как чуткое ухо охотника подспудно уловило

чужие непривычные звуки в безмолвном утреннике. Кто-то, большой и тяжелый, тоскливо и злобно дышал за спиной. Дыхания были сильны и надрывны, они просили, они умоляли подождать, и эти, невесть откуда взявшиеся дыхания без шагов пугали своей неопределенностью, селили в Савине боязнь обернуться, посмотреть, шугануть непрошенного шутника.

Заскрипев шеей, Савин оглянулся — в груди кольнуло. Ах, собака! Да это ж волк! Что ж ты ползешь-то за мной? И чего тебе надо? Отбросов не хватает? Ах, матушка! Да за что меня-то! А? Савин засеменил катанками, втянув голову в плечи, враз сгорбившись, то и дело загибая голову и искоса, как-то сбоку-вниз смотрел на бегущего зверя. Матерый, черт!

Волк тоже заторопился, не желая упускать одинокую добычу. Свернул с дорожки влево, побежал по насту. Быстрее, еще быстрее. Заходит, заходит, за-хо-дит! Оскалив обрызганную слюной морду, блестя желтым зрачком, он начинал обходить Савина. Пелагеич повернулся. В последний момент инстинкт подсказал схватить первый попавшийся под руки кусок льда или снега и замахнуться на зверя, как отпугивают не вовремя приставшую, надоедливо лающую собаку. Но тут нога предательски подскользнулась, и Савин, как-то боком, свернувшись в клубок, начал падать в сугроб. Тяжелое ударило сверху, подавило. Тысячи тупых иголок вонзились в захребтину — по шее полилось что-то теплое и густое. Мелькнуло:

— Ворот-то поднять надо было...

И, откуда-то издалека, из безразличия, надрывный голос Петра Мальцева:

— Пелагеич, ты что это? А? Пе-ла-ге-иччч...

ЕВГЕНИЙ КОТЕЛЬНИКОВ

«Со стихами Евгения Котельникова я познакомился впервые года три назад на одном из занятий литературного объединения при ДК им. 50-летия Октября. Они сразу же привлекли внимание тонким лиризмом, глубокой психологичностью и некой, я бы сказал, молодой задиристостью.

Еще отличает стихи Котельникова стремление высветить внутренний мир лирического героя ассоциативными, как бы побочными средствами, часто прибегая к смелой метафоре, сравнению. Такой прием придает стихам молодого поэта свежесть и своеобычность, хотя пишет он о явлениях вечных, давно знакомых. В этом легко убеждаешься, когда читаешь хотя бы такие строки:

... В науке слывущая дерзкой
затея моя удалась:
ты тонкой рябиновой веткой
на теле моем прижилась.
Идущий по нашей тропинке
прохожий руками всплеснет:
«Глядите-ка, ветка рябины
на тополе горьком растет!»

Л. ФОМИН, член Союза писателей СССР.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Серебрится дорога. Полночь.
Возвращаюсь под отчий кров.
У подъезда — скорая помощь
с украшениями крестов.
Плавно падает снег. Мужчина
возвращается. Тишина.
Как в романе...
Только машина,
для чего она здесь нужна?

На родном втором этаже
двери приторно заскрипели.
Это же...
Неужели?!
Неужели снова —
угроза,
операция,
стоны,
бред,

губы, склеенные наркозом,
и больничный пресный обед...
Неужели опять —
одна,
передачи,
звонки,
свиданья,
невозможные расстоянья
от кровати — и — до — окна...
Задохнусь на лестничной клетке:
мама...
мамочка...
мама...
мам...
Слава богу!
Помощь — не к нам.
Это к нашей больной соседке.
Это к Зое Петровне старой.
У нее давнишний инсульт.
Словно перышко,
санитары
на носилках ее несут.
Все в порядке.
Мама здорова.
Воет женщина бестолково
и машину бьет по крестам:
— Мама...
мамочка...
мама...
мам...

СИЗЫЙ

На свадьбе гуляли
в новой квартире.
Смешались музыка, тосты, гам...
Друзья пожелали:
«Живите в мире!»
и ночью разъехались по домам.
Едва свои золотистые бусы
по комнате разбросала заря,
как женщина вскрикнула:
— Полюбуйся,
мой милый,
на этого дикаря! —
А там,
по самому краю карниза,
за влажным стеклом,
за майским окном,
расхаживал
гоголем
голубь сизый,
похожий на сказочный метроном.
Четыре шага — туда,
и четыре —
обратно,
четыре шага — туда...
И в крохотной необжитой квартире,
казалось,
всходила своя звезда.
Обнявшись нежно, стояли супруги.
Смотрели на голубя не дыша...
И стал он считаться
ближайшим другом
У парочки с пятого этажа.
Он к ним прилетал
откуда-то снизу.
Мужчина кидался булку крошить.
А женщина все говорила:
— Сизый!
Ведь правда,
ты будешь с нами дружить? —
Потом хохотала,
била в ладоши,
заметив,
что голубь круглее стал.
И все повторяла:
— Сизый, хороший...
И он соглашался.
И прилетал.
Зима за зимою,
за летом лето...
А сколько воды и слез утекло!
В квартире — другие.
А дурень этот
стучит и стучит —
головой—
в стекло.

ОРИГИНАЛ

(быль)

— Слыхали, соседи, что давеча
выкинул
Сошников-оригинал?
— ?
— Из третьей квартиры безногому
Брыкину
свой телевизор отдал!
— Эх, триста рублев да на ветер
отправил!
Ума-то не лишку, видать.
— Но это выходит из рамок,
из правил...
— А мне, извиняюсь, чихать!
— Зачем же чихать, коли точно
известно,
что Брыкин — прожженный алкаш!

Вот ты, Редозубов, сказал интересно.
А сам-то, небось, не отдашь?
— Отдам или нет — не твоя
Полутырин,
забота: собою живем.
...А Сошников с Брыкиным в третьей
квартире
сидят у экрана вдвоем.
И жизнь представляется просто
отличной,
когда поступает сигнал:
среди всевозможных подделок
под личность
находится оригинал!

ЦЫГАН

Мы с моей Сивой двинем отсюда
где-то в четыре без десяти.
Поторопитесь
вашу посуду
в нашу телегу перенести.
Да поживее, граждане!
Ну-ка!
За чепуху плачу чистоган.
Кроме пяти копеек за штуку —
в пользу несчастных бедных цыган.
Что ты меня боишься, мамаша?
Я для тебя — грязнуля и псих.
Но не грязнее бутылок ваших
и не припадочней вас самих.
Радуйся, Сивая!
Все — по плану.
Глазом косишь
на змею кнута.
Я бы тебя кому-нибудь сплавил,
только кому ты,
лошадь,
нужна?
Я бы махнул в перелетный табор,
только повывелись табора...
Кажется,
воз давно уже набран.
Нам, брат, пора.
Давай со двора!
Верка моя — нахалка, воровка
(не понимаю, за что люблю) —
старой помадой торгует ловко
у «Парфюмерии»,
на углу.
Мне же, по совести, надоели
эти бутылки,
злые глаза,
страшные сны,
халтурные деньги,
скрипы тележного колеса...
Вечер.
Сданы в контору бутылки.
Сивая убралась на постой.
Деньги-насмешки,
деньги-ухмылки...
Будет
у Верки
зуб золотой!

Начало на стр. 18

в парке против университета в 1975 году, в 1976 в аудиториях, уже с ребятами курса Олега Балезина, а позже и у Бориса Михайловича. Нам повезло, за 4 года мы собрали силы. Я не смотрю с тоской на 438 аудиторию по пятницам. Я верю в жизнеспособность литобъединения.

Сборник приглашает со всех факультетов, как студентов, так и преподавателей, как поэтов, прозаиков, так и критиков. Все написанное будет обсуждаться на собраниях литобъединения, куда вход свободен для всех. Затем редакция отберет то, что будет напечатано. По желанию автора можно ограничиться второй процедурой — мнением редколлегии.

Цель нашего сборника не столько опубликование высокохудожественных произведений, сколько предоставление возможности напечататься начинающим.

Начало на стр. 5

ции «На смену!»: Е. Захарова, В. Кудрин, Л. Туровская, В. Мясников, А. Зашихин, В. Дитятев во главе с заместителем редактора «На смену!» С. Кожеуровым и литконсультантом «Вечернего Свердловска» Ю. Лобанцевым.

Все «насменовцы» прочитали свои стихи. Ю. Лобанцев и Г. Сюньков отметили, что в стихах литобъединения не достает гражданственности. В. Егоров и С. Коновалов выступили за здоровый оптимизм, которого сейчас в поэзии маловато. Вокруг этого и пошел разговор: серьезный, острый, порою слишком резкий, но интересный.

Творчество Ю. Казарина уже было знакомо «насменовцам». Юрий выступал на одном из заседаний у них. Вспыхнул застарелый, видимо, спор. Считается, что Ю. Казарин ведет поиск не в нужном сейчас поэзии направлении. Но здесь каждый остался при своем мнении.

Эта творческая встреча была дебютом для Анатолия Зашихина, самого молодого члена литобъединения им. М. Пилипенко. Его стихи вызвали большое оживление, привлекли к себе внимание искренностью и свежестью юности.

А. КИРИЛИН.

ВЛАДИМИР КРАСНЫХ

«Искать в повседневности новое — вот цель. Живи и пиши, если оно есть в твоей жизни.»

В ЛЮЦЕРНЕ

В чистом, без единого облачка небе, забравшись на самый верх, засело солнце и жарило оттуда беспощадно. Все изнывало от жары.

Люцерновое поле, высушенное дотла, замерло не дыша. Истощенные стрелки из последних сил держались строго прямо, и от напряжения травинки чуть-чуть трепетали, словно встали на цыпочки, вытянулись вверх и ни за что не хотят расслабиться.

Изредка, едва слышно, то там, то здесь коротко — хруст, хруст — ломались изможденные травинки, роняли головы или подламывались по серединке, или совсем на корню, и тогда тонкая стрелка падала к ногам своих сестер, падала в сухую блеклую траву и задыхалась от жара, подымающегося от земли, которая уже отказалась от него, и пыталась подняться — и еще переламывалась, а маленькое белое солнце наверху бесстрастно жгло.

Вечером, когда солнце, огромное красное, село, мы пошли в это люцерновое поле. Дневной жар рассеивался и переходил в мягкое тепло сумерек. Темнота густела вместе с тишиной. Люцерна еще светлела, а лес, окружавший это маленькое поле, сливался в темную змеистую гряду. Лес казался холодным, а люцерна горячей.

Светка завороженно слушала мой безыскусный треп, спотыкалась на каждом шагу, а я, ломая ногами люцерну, мучительно придумывал приличное продолжение сегодняшнего вечера. Я напрягался, подбирая слова, которые бы загипнотизировали Светку и оторвали ее от действительности, от деревни, из которой мы вышли, от людей, которых мы в ней оставили, от желания оглядываться на них. Я подыскивал слова и желал одного — заворожить Светку, заколдовать ее голосом, в котором там, в глубине, приглушенно, но все нарастая, зазвенело тайное и неясное еще, но все растущее желание. И оно вытягивает слова, заставляет произносить их сдерживаясь, оно заставляет закруглять их и заставляет вкраплять мелкие паузы, оно гонит кровь и делает дыхание бесконечно медленным и глубоким.

И Светка почувствовала, она в голосе уловила какое-то давление и подсознательно почувствовала, что надо сопротивляться. Светка неожиданно громко засмеялась и убежала вперед. Я перевел дыхание. Похоже, я сам себя околдовал.

— Свет, — сказал я весело, — почему ты мне не веришь?

Она не ответила, только в нос сказала «хы».

— Ну нет, ну правда, я ведь не врал, ведь бывают такие случаи не только со мной.

— Может, с другими и бывают, — сказала она пренебрежительно, — а ты наврал,

— Ты, конечно, можешь мне не верить, — сказал я обиженно, — это твое дело, а мне нечем доказать, но я тебе правду говорю: в ту ночь мне приснился сон, и я разговаривал с ней. А днем потом письмо написал, и все совпало.

— Ну, где это письмо? — Светка взглянула на меня.

— У нее, конечно.

— Ага, а где ответ?

— Я ж тебе сказал, что она оба письма забрала, потому что это исключительный случай телепатии, — постарался объяснить я, Светка, кажется, сморщилась. Посмотрела на зарю:

— Даже заря сегодня дурацкая. Зарю путевую сделать не могут. Разве это заря?

— А тебе какую надо? Вполне приличная заря, — со знанием дела сказал я, даже не взглянув на небо.

Светка напрашивалась на стычку, пустяковую такую и бессмысленную, которая играла одну роль — разрядиться. Вообще-то я не потакал Светке, но сегодня, здесь, когда еще недавно мой голос едва не срывался от волнения, я не мог, я не хотел совсем уничтожать этой пустенькой ссорочкой какое-то тайное сближение, появившееся было две минуты назад. А Светка, кажется, как раз этого хотела.

— Так оно и есть, — буркнул я.

Светка хихикнула и запела:

— Ля-ля-ля-ля.

Ага. Я подхватил, постаравшись пропеть как можно отвратительнее:

— Ляляляля — аа.

Светка снова хихикнула.

— Сань, скажи мне прямо, — зачем ты меня сюда притащил?

Та-ак. Не мытьем так катаньем. Нет, ты у меня, голубушка, сегодня не выкрутишься, ты не думай, что я сломаюсь, плюну, нет, я не забуду, как ты чуть было не пошла за моим голосом, дорогая.

— Чтобы ты увидела эту прекрасную зарю и почувствовала ее запах, похожий на запах люцерны, — речитативом пропел я.

Ловко я выкрутился, а?

— А че эт твоя люцерна ничем не пахнет?

— А потому, что ты летишь, как паровоз, ну, конечно, ничего так не заметишь... Светка резко остановилась:

— Ну вот, стою. Все равно не пахнет.

— Какая ты скорая, — сказал я наставительно. — Надо остановиться и вчувствоваться. Этот запах почти неуловим. Его не просто почувствовать, его надо поймать, — говорил я, опять лаская голосом. Теперь я сознательно клонил в свою сторону.

— Сядем, —добавил я повелительно и сел.

— А стоя нельзя почувствовать? — ехидно спросила Светка.

— Нельзя, — ответил я строго. — Это слишком долгое дело. И нельзя шевелиться, ты стоя не выдержишь...

Светка села, громко, по-старушечьи охая и кряхтя.

— Ух ты, какая земля теплая, даже горячая, — изумилась она. Я, не глядя на нее, деловито сказал:

— Специально для тебя согрел. Светка усмехнулась и сказала опять с ехидцей:

— Конечно, у тебя все идет по плану.

Ах ты, цаца, ты долго будешь свое тощее жальце выпускать?

И на этот раз усмехнулся я. И сказал, все не глядя на нее:

— Ладно, давай будем слушать зарю.

— Так люцерну или зарю?

Я не ответил.

— Че ты молчишь?

— Я слушаю.

Светка помолчала.

— Ну, чуешь?

Я не ответил. Светка вздохнула и умолкла.

«Слушать зарю» — я чуть не расхохотался. Ну да, зарю. Только почему-то я больше к себе прислушиваюсь. Там, конечно, самовар зашипел. Скоро ожидается закипание...

И тут я почувствовал, что скверно думаю, а точнее, совсем не думаю. Что из всего этого получится? Ты задумался о последствиях? Я спрашивал себя строго, как человек на плакате, вопрошающий у прохожего, не забыл ли он дома выключить утюг.

Я вздохнул и услышал Светкин шепот:

— Ну, так и будем сидеть?

Я сглотнул слюну и повернулся. Светка сидела напряженно, неловко, я мельком глянул ей в лицо, хотя было уже темно, но я заметил, что рот у нее чуть приоткрыт. Я мучительно неловко взял ее за руку, рука была тяжелая и вялая, я зачем-то глупо подержал ее на весу, а потом отпустил — даже бросил, и она, как неживая, упала на ее колено, а я как-то скрюченно, неестественно придвинулся и обнял Светку. Она не шевельнулась, не сказала ни слова, а я, изо всех сил сдерживая дрожь, прижался губами к ее приоткрытым губам и закрыл глаза. И потянул Светку вниз, и неожиданно почувствовал сопротивление. Я зашептал ей в ухо:

— Света? Неужели ты меня не любишь? Ты меня не любишь...

— Люблю, — ответила Светка, напрягаясь всем корпусом. Я еще сильнее сжал ее и снова медленно потянул, шепча в ухо:

— Нет, не любишь, не любишь...

И вдруг она громко захохотала и дернулась, вырвалась из моих рук. Я остолбенел. А она хохотала, отползая от меня. Я привстал на коленях. Она все хохотала и мотала головой. Обида хлестнула меня по щекам, я сжался, готовый вскочить, выругаться, убежать. Светка неожиданно замолкла и тяжело упала на спину. Я сжимал зубы.

— Иди сюда, — шепнула Светка. Я видел, что она отвернула лицо в другую сторону, мне только была видна правая щека. Но я не верил, я еще хотел выругаться и уйти. А Светка шептала:

— Ну иди же.

Я прыгнул. На коленях и согнутых руках я склонился над ней, пытаясь посмотреть в глаза, но она их закрыла и шептала:

— Поцелуй меня. Ну. Ну поцелуй меня.

Она подняла руку, обхватила меня за шею, потянула и все шептала в сторону, не поворачивая головы:

— Ну поцелуй, поцелуй. Ну че ж ты?

Я впился в ее рот и почувствовал, что она дрожит. А она опять, вырвав губы и оттолкнув меня, захохотала. И вдруг смолкла и зашептала:

— Ты не бойся, я это так, ты не обращай внимания. Поцелуй меня. Поцелуй...

Я тяжко вздохнул и рванулся к ней. Я кипел, а Светка, то молчала, и тогда ее дыхание и мое дыхание сливались в кипящую струю, то разжигала меня адскими поцелуями, то шептала: «Саня, Санечка, не надо, ну зачем, Санечка, не надо», то вдруг отталкивала меня и опять хохотала и вдруг замолкала, и шептала: «Ну поцелуй, Санечка, ну поцелуй, поцелуй меня. мой хороший, милый, поцелуй меня», шептала, пока мои губы не закрывали ее рот, пока не сжимали его намертво, тогда она расслаблялась, а подо мной переворачивалась земля, горячая земля и на ней сухая тонкая люцерна.

Вдруг — опять в который раз — Светка забилась и оттолкнула меня, но не захохотала, оттолкнула молча, грубо и сразу замерла. Я услышал какой-то стук, я обернулся, понял — топот и увидел всадника, рысью скачущего от леса к нам. Я растерялся, испугался, замер, подавил дыхание. Светка толкнула меня в спину, я оглянулся, она ничего не сказала, не пошевелилась, но мне показалось, что глаза у нее злые, я нечленораздельно промычал и зашарил по земле, ища какой-нибудь камень. Я его не нашел, всадник подскакал к нам, мы стояли на коленях, как две мышки перед кошкой. Мы услышали смех, сперва смех, а потом поняли, что женский. И голос, насмешливый девичий голос, зазвучавший ясно и громко, нелепо и неуместно здесь,

а потом поняли:
— Здорово напугались, ага?

Девушка на коне засмеялась, зачем-то заставила лошадь покрутиться на месте и сказала со смехом:
— А вы тут так смеялись! Нам стало здорово интересно — кому это так весело?

Мы не успели разглядеть этого всадника, оказавшегося девушкой, как появился второй всадник. Девушка, все смеясь, обратилась к нему:
— Напугали мы их! А ты еще хотел галопом и кричать!

Девушка договорила, обращаясь уже к нам и не переставая смеяться:
— А мы хотели, как индейцы...

Девушка закричала, засмеялась, опять заулюлюкала, ударила ногами лошадь и поскакала в люцерну. Второй всадник хмыкнул, поспешно сказал молодым мужским голосом:
— Вы извините...

Ударил плеткой свою лошадь, крикнул еще что-то, но мы не поняли, только увидели, как вздрогнула и присела крупная лошадь, и понесла его за девушкой по люцерне.

Светка выдохнула, хихикнула, потом мне показалось, что упала на спину, а я вскочил на ноги и глядел, как скачут по полю два огромных черных тела и как одно медленно догоняет другое.

Светка внизу спокойно, с иронией, сказала:
— Налетели и улетели и все прекрасно кончилось.

Я не ответил и не обратил внимания на ее иронию, завороженный скачками этих с неба свалившихся всадников. Мой испуг откатывался, мне почему-то становилось неудержимо весело, будто это я напугал нас со Светкой, будто это я скакал за девушкой по люцерне, в темноте, радуясь, слушая дыхание и топот своего коня и замечая, что расстояние до девушки становится все меньше, меньше.
— Ну ладно, хватит, уставился... Пойдем домой, — услышал я Светкин раздраженный голос.

Меня задело, я обиделся — как будто я в чем-то виноват, — мне стало досадно, я сказал:
— Вставай, тогда и пойдем.

Все-таки я сорвался:
— И не надо, пожалуйста, всяких ироний, будто я виноват в чем-то!
— Да я тебя не обвиняю, хы, какая тонкая натура, — поднялась она.
— Света, лучше помолчи, — сказал я угрожающе.

Светка захлопала себя по бедрам, запричитала, как деревенская баба:
— Ну, Санечка, ну дорогой, ах ты миленький мой, ну обрадовал, ну порадовал мое сердечко, уж спасибо тебе, Санечка...
— Да пошла ты!.. — рявкнул я.

Светка ударила, промахнулась, попала не в щеку, а в шею и заплакала. Я скривился, плюнул. К черту такие дела! Я зашагал домой.

Крик остановил меня. Это не Светка, это далеко, и не может Светка кричать так. Это та девушка. Это она!

Светка стояла все там же. Темно, плохо видно. Далеко там, в темноте, заржали кони. Крик не повторился. Я побежал обратно к Светке. Она смотрела туда, в поле.
— Надо посмотреть, — сказал я нерешительно.

Светка побежала. Я обогнал ее. Люцерна больно обожгла мне руку, люцерна мешала бежать. Я оглянулся: Светка бежала. Трава резала ей ноги. Я побежал снова.

Мне показалось, что там, в темноте, кто-то говорит или ругается. Ну да, это же тот парень! Опять заржали кони.

Мы оба испугались этого крика. Что могло там у них случиться?

Люцерна опять обожгла ладонь. Мужской голос в темноте стал громче, но еще непонятный, только «бу-бу-бу», повторяясь, будто что-то спрашивая.

Наконец я разобрал, я понял:
— Лена, Лена, что с тобой? Лена, Лена, что с тобой? Лена?

Голос пропал. Я увидел лошадей. Они задрали вверх головы и нервно всхрапывали, косясь в одну сторону. Я искал глазами... увидел парня на коленях. Он смотрел на меня. Перед ним лежала девушка.

— Что случилось? — спросил я севшим голосом, задохнувшись. Парень смотрел на меня, не отвечая.

Я не знал, что делать, я не смел подойти. Я услышал, как сзади подбегает Светка.

— Что случилось? — снова тихо спросил я.

Светка выбежала из-за моей спины и остановилась. Тонко, коротко заржал конь. Смолк. Светка усмиряла дыхание. Я не дышал.

— Упала. Подпруга лопнула, — сипло выговорил парень.

Я подошел ближе.

— Санечка, ну почему же это так? — шепотом спросила Светка.

Я хотел ей что-то сказать, но челюсть моя задрожала, я замычал, а Светка с ужасом смотрела на меня, держала переломленную руку девушки и не могла заплакать. А я уже не замечал, что пугаю Светку, я ничего не понимал, я отказался думать, только одно резало мой мозг, только одно сидело в нем: «Почему? Почему все так ненадежно, все так беззащитно? Почему все так случайно? Почему все так нелепо, слепо, случайно?» А Светка, наконец, пересилила страх и тоненько завыла, сперва тихо, а потом громче, громче. Мне стало легче от этого плача.

Парень пошевелился, Светка всхлипнула и замолчала. Он осторожно отнял у Светки руку девушки, мне показалось, что он улыбнулся.

Светка странно смотрела на него, и она как будто хотела улыбнуться.

Когда утром взошло солнце, когда лучи его добрались до люцернового поля, травинки встрепенулись и потянулись вверх. Сухие и тонкие, они поднимались, чтобы весь день стоять строго прямо, чтобы тянуться вверх даже в полуденное пекло. Сломанные, примятые и погнутые стрелки тоже пытались подняться и кое-где подымались, так что, когда солнце стало над лесом, следы вчерашнего вечера были едва заметны.

СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ

«Я родился и всю свою, пока еще короткую, жизнь прожил в городе. На колхозные поля попал впервые в 1976 году, когда участвовал в уборке урожая в составе студенческого отряда. Но уже задолго до этого, еще в детском саду, начала томить меня неведомая тоска о «лопатах, ухватах и вилах». Так и живу с ней. И ведь знаю, что нет уже на земле столь милых моему сердцу «избяных заповедников», и давно ушли в прошлое мои герои, а все равно каждый вечер тянет написать о покосившемся плетне, старом тракторе и ржавом бердане. О том и пишу.»

Глухари токуют на току,
совершая брачный свой обряд.
Я бердан срываю на бегу,
достаю пороховой заряд.

* * * * * * *

Вчерась я зашел на ферму
В своей рубашенции яркой,
Хорошая девушка Феня
Работает там дояркой.

Не то чтобы очень красивая,
Не то чтобы умная очень —
У нашего председателя
Младшая любимая дочерь.

Номер подготовлен к печати под руководством преподавателя кафедры печати Г. Сюнькова.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Г. Сюньков, В. Штраус, В. Егоров, О. Балезин.

НАШИ АВТОРЫ:
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ: И. Иванов,—3 курс, О. Балезин—3 курс, В. Егоров — 4 курс, В. Штраус—4 курс, С. Головко—рабфак, А. Гущин—3 курс, Г. Сюньков—преподаватель кафедры печати, А. Подосенов — 4 курс, Е. Котельников — выпускник 1978 года, В. Красных—4 курс, С. Пономарев—3 курс, В. Шакуев—3 курс. Ю. Чулков—4 курс.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: Ю. Казарин—3 курс, А. Фомин—2 курс.

НАША ОПОРА:
МАШИНИСТКИ: Римма Бакшаева, Татьяна Ильинкова.
КОРРЕКТОРЫ: Лиза Старостина, Дина Стуканова.
ВЕРСТАЛЬЩИЦА: Галина Бутырина.
ЛИНОТИПИСТКИ: Розалья Шантарина. Раиса Казаева.
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТЫ: М. Гулак — 4 курс, А. Кирилин — 4 курс.

Типолаборатория УрГУ, Свердловск, пр. Ленина, 51. Заказ 294. Тираж 500.
Отв. редактор Б. Н. ЛОЗОВСКИЙ.